

ВЕЛИКАЯ СМУТА

Исторический
роман-хроника*

Книга третья: ГРЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

АТАМАН И ЦАРЬ
(7115 годь от С. М. — 1606 год от Р. Х.)

I

Шиш из царева кабака Рогожской ямской слободы обратил внимание на пришлого, едва только тот переступил порог питейного заведения. Шиш только что проследил за тульским ямщиком, хаявшим царя Димитрия, сдал его стрельцам и вернулся на пост с чувством гончей, хорошо идущей по следу. За год шиш взял уж сорок человек по Государеву Слову, служа сначала Годуновым, теперь сыну Ивана Грозного, и так наметал глаз на злодеев, что порой самому казалось, что может и не слушать, что говорят люди о Димитрии Ивановиче, а просто вырывать вражин из толпы и указывать стрельцам, кого и за что брать. Тот, кто сидел от стойки за вторым к выходу столом, должен стать сорок первым...

Во-первых, постоянно посещающий кабак люд был шишу знаком, а этот — пришлый. Во-вторых, пришлый походил одновременно и на казака, и на дворянина, и на стрельца, и на холопа боярского, и даже на поляка. Казаков, слава Богу, новый царь прогнал из Москвы, стрельцу да холопу делать в чужих кабаках нечего, поляки ямских слобод остерегаются, дворяне да боярские дети поодиночке пьяными не ходят.

Подойдя к подозрительному пьянице ближе, шиш заметил, что серебряное шитье на темно-синего сукна терлике пришлого от долгого ношения потускнело, обшлага и ворот сильно засалены. «Сын боярский, — решил шиш. — Из обедневших». И тут же по привычке составил словесный портрет сорок первого: телом крупен, лицо обыкновенное, без примет, но не русское, ибо цвет кожи не совсем белый, а со смуглицей, как бывает у черкесов, глаза карие, лоб высокий, нос прямой, борода пышная, окладистая, ровно подстриженная, волосы прикрывают уши, верхняя губа тоньше нижней, зубы целы. Про рост и фигуру станет ясно, когда встанет пришлый. А вот брови... Брови густые, сросшиеся выше переносицы.

Шиш сел так, чтобы видеть сорок первого и слышать все, что тот ни скажет. Слуга царский чувствовал охотничий азарт и нетерпение, ибо заметно было, что пришлый крепко пьян и говорит все и обо всем. Легкая добыча.

— Любить государя? — обращался сорок первый к соседу по столу, которого шиш знал как слугу верного, живущего аж в Кадашевской слободе и сюда, на Рогожскую заставу, приходящего того лишь ради, что здесь в единственном на всю Москву месте торговали белым зеленым вином, до которого кадашевец был отменный охотник. — Думай, что говоришь! — рявкнул пришлый и постучал согнутым пальцем по лбу. — Любить государя... — повторил. — Как родился — уже и люби. И до самой смертушки: люби, люби, люби... Один государь — его люби. Другой пришел — люби другого. Как будто сам — вещь... А любовь, знаешь что?.. Это — вдруг! Понимаешь?

— Нет, — мотнул головой кадашевец. — Надо любить государя...

— Ничего-то ты не понимаешь... — вздохнул сорок первый. — Любовь это... вдруг! — и принялся объяснять: — Вот когда одинаково все, пусто вокруг... занят чем-то — нужный ты человек.

— Я — нужный... — пьяно мотнул головой кадашевец.

— И все идет как надо. И знаешь наперед, что будет завтра, послезавтра, через год... — говорил, слыша лишь себя, сорок первый. — Не жизнь — сплошной понос...

— Понос... — согласился кадашевец. — У жены понос — я ей сухого подорожника дал. Верное средство.

— И вдруг — свет! Вспышка!

— Да, вспышка... — согласился кадашевец. — У меня в понос всегда лучше стоимт.

— Потому что вдруг! Потому что все по-другому! И не ясно — что завтра, что через час, что сейчас.

— А сейчас — запор... — печально поддакнул кадашевец.

— И кровь бурлит, тело раскаленное. И хочется бежать, что-то делать, совершать.
 — Вот выпью белого — и совершу, — согласился кадашевец. — А с красного — нет, и с хлебного нет, плохо стоит...

— И так бывает только вдруг. А не всегда, и не понарошку. За это и умирают... — сказал сорок первый и задумался, глядя на собеседника. — Впрочем, за государя тожедохнут. Как мухи осенью.

— Уже весна, — сказал кадашевец. — Палочка на палочку просится, букашка к букашке льнет.

Будто в подтверждение его слов в распахнутое окно ворвался ветер, внеся запах выглянувшей из-под просеянного снега прели.

— А государь... — повторил сорок первый. — Что государь? Скоро будет государь новый.

Сердце шиша екнуло: вот, сказано! государю московскому Димитрию Ивановичу двадцать три года от роду. Он здоров, силен и, значит, царствовать должен еще долго. И если говорят, что скоро будет новый государь, значит... При мысли, что значить это может для царя, у шиша заколотилось сердце.

А сорок первый продолжал:

— Басманову вон сам Иван Васильевич говорил: «Люби государя...» Вот он и любил: поначалу убийцу собственных отца и деда, потом сына его Федора любил, после любил Бориса Годунова, теперь этого...

Кадашевец словно проснулся. Косо глянул на пришлого, одним глотком допил вино из кружки, встал и пошел к выходу. Шиш поспешил занять его место.

— Труслив народ московский, — начал на ходу сочинять. — Не то что мы, рязанцы...

— Да ты шиш! — рявкнул сорок первый так, словно пригвоздил нового соседа к скамье.

Шиш вскочил, но рука неожиданно сильная, как медвежья лапа, ухватила его за грудки и приподняла на носки.

— Я... — залепетал шиш. — Я только...

Кабак застыл. Вся пьянь и ямщики смотрели на них с любопытством. Шиша здесь знали, не любили, побаивались.

Сорок первый впечатал кулак в лоб шишу — и тот упал бездыханным.

— Шиш, — брезгливо повторил пришлый, вытер руки о себя и пошел не к дверям, а к манящему запахом весенней прели окну.

Окно маленькое, а он, высокий, широкоплечий, юркнул в него, как мышь в нору, и исчез, оставив кабатчика и посетителей с разинутыми ртами...

2

Об истории сей Иван Заруцкий услышал день спустя, болтая со стрельцами дворцовой стражи. Досужие мужики в перерывах меж караулами рассказывали о том, что по городу по ночам гуляет сам государь, переодетый в кафтан простого стрельца. Вызнаёт, хитрец, чем живет его народ не со слов лукавоязычных бояр, а самолично все видит, понимает и судит.

— И не узнали бы, — восторженно рассказывал молодой стрелец Иван Трофимов, приставший к Димитрию еще в Путивле, — кабы шишу государь в лоб не стукнул, а после не в дверь пошел, а прыгнул в окошко.

Заруцкий отметил про себя, что тот пьяница, ударив шиша, мог подумать, что за дверьми кабака прячутся стражники.

— Все знают, — продолжил стрелец, — что государь любит прыгать в окна.

Стрельцы, слушавшие Трофимова, согласно заржали.

Любовь прыгать в окна была одной из многочисленных причуд царя. Бывало, идет караул, стучит мерно сапогами по брусчатке, покачивает бердышами — и вдруг сверху, из окна второго этажа царского терема, распахнув полы отороченного горностаем терлика, рушится сам государь. Вскочит с корточек и смеется. Или вдруг возникнет незаметно за спиной разводящего и спросит: «А если бы то был не я, а враг?» — и опять смеется, весело так, беззлобно, как мальчишка, которому удалось показать свою удаль. Когда же Димитрия Ивановича обнаруживали стрельцы раньше, чем тот сам хотел себя показать, радости царя не было предела. «Молодец! — кричал государь. — Жалую тебя деревней в Звенигородском уезде!» И стрельцы старались, несли службу добросовестно. Тот же Трофимов уже две деревни заполучил.

— Сначала проверял только нас, — сказал пожилой стрелец, служивший еще в охране самого Федора Ивановича. — А теперь принялся за шишей. Мудр наш государь.

Заруцкий ухмыльнулся в усы. Именно он придумал эту шалость с выпрыгиванием из окна. Пожалел царя. Молодой, сильный, здоровый, а его под руки, как старика какого, по дворцу водят, на блюдо перед ним снедь накладывают, только что в рот не кладут и за него не пережевывают. Увидел раз Иван Мартынович, как государь всея Руси, точно отрок какой, незаметно от всех на одной ноге скачет, пожалел юнца, посоветовал игру затеять такую: от бояр убегать, охрану свою самолично проверять, а под видом этим прыгать из окна, бегать, подтягиваться, бить кулаками в цель.

— Вот это настоящий совет! — сказал в тот же день Дмитрий братьям Бучинским¹. — А у вас на уме только как меня с Шуйскими помирить. Ну, да Бог с вами. Возвращайте князей из ссылки...

Казаки меж тем продолжали чесать языки. Солидно рассказывал пожилой стрелец:

— Помню, государь в начале еще спорил с боярами, все норовил по-своему сделать. Удерет от долгобородых — и по палатам то на одной ноге, то на другой скачет. Раз попросил городки ему настругать и во дворе клетки да полосы начертить. Только вышел за порог, взял битую — долгобородые тут как тут: «Не царское дело», — говорят. Под ручки белы ухватили и повели. У него лицо было — что у дитя без бабьей сиськи. Его в хоромы ведут, а он голову назад повернул и на поле городошное с такой тоской смотрит, что, ей-богу, меня слеза прошибла. Дмитрий Иванович, пока царенышем был да по чужим землям шатался, жил, небось, по-человечески, свободно. А к царскому житью ох как тяжело привыкать...

Стрельцы согласно кивали головами и вздыхали, искренне сочувствуя молодому царю.

— У каждого доля своя, — закончил пожилой стрелец и, достав из-за пазухи мешочек с завязкой, раскрыл его, высыпал на ладонь ягод сушеной черники. — Угощайтесь, молодцы. Духовита и пользительна. Я, как поем их, такую бодрость чувствую, будто молодой. Мне Корела подсказал. «Язык у тебя белый, — говорит. — Чернику надо есть».

Стрельцы с охотой взяли по шепотке ягоды.

— Башковитый мужик атаман, — заметил один из них. — Сказывают, сынишка у Корелы был на Дону. А Годуновские прислужники убили его.

— Болтают... — отозвался другой. — У Корелы жил приемыш. Вместе с атаманом пошел в посольство к нашему царевичу да там у поляков и сгинул.

— А я слышал, будто Корела, как только сын у него помер, душу черту продал, и теперь его ни сабля, ни пуля не берут.

— То бояре болтают, а ты за ними повторяешь, дурак...

Заруцкий слушал разговор стражников с долей зависти. Лестно быть столь любимым воинству, как любим всеми Корела. Но понимал Иван Мартынович, что любовь такая и опасна, ибо любовь к одному лицу множества людей порождает в сердцах другого множества зависть и черные желания. Нет, не для того Заруцкий пятнадцать лет колесил по Руси, мерз в ямах разбойничьих, пил вино из чужих кубков, бился в схватках и с ворами, и с правительственными войсками, сносился с битыми и перебитыми при Годунове Романовыми, помогал Дмитрию, когда тот лишь с малой горсточкой поляков против целой Руси выступил², чтобы так же, как Корела, жить в Кремле на правах птички певчей, есть да пить, слушать восторги себе да не знать, к чему свои руки приложить. Страшна судьба победителя пятидесятитысячной московской рати, ибо нет нужды государю в воинском даре его, а жить дворцовой тоской, где каждый день расписан и каждый шаг заранее предопределен, не в силах ни Корела, ни Заруцкий.

— Что ходить... — продолжили меж тем стрельцы. — государь тут, с охоты возвратясь, дичи захотел. А ему на стол ставят постный суп да квасу.

— Да, с такой еды до Ксении не побежишь.

Но ожидаемого смеха не прозвучало. Стрельцы, как и вся Москва, а может, и вся Русь от края до края, знали о доле Ксении Годуновой, насильно ставшей полюбовницей молодого царя, с некоторых уж пор сочувствовали ей, жалели бывшую царевну.

— Видел я царевну, — сказал Иван Трофимов. — Красива, ядрена. Такой бы в мужья если кто и подошел, так только Корела. Поставь рядом, глянь — на колени падешь.

Проговорил и замолк, ибо в этот миг с поклоном в низкую дверь вошел сам Корела — высокий, широкоплечий, в богатом казацком кунтуше, в ярко-синих штанах, заправленных в такие же синие юфтевые сапоги, при сабле, с пистолетом за черным кушаком. И с оплывшей от хмельного рожей.

Увидев Корелу, стрельцы разом подтянулись. Знали, что главный воевода Кремля расхлябанности не терпит и, даже будучи в подпитии, выглядит пристойно, внешне чист, опрятен, шагает твердо и, чтобы не выдать пьяную невнятность речи, почти не говорит, а лишь ярит очи и перекатывает желваки.

Сейчас Корела был пьян и в меру весел. И потому, как все пьяные, считал, что в этот момент все думают о том же, что и он.

— И, значит, скоморохов во дворец, — заявил атаман, разгибаясь и одаря всех улыбкой. — И чтоб театр. Как в этом... — протянул вперед руку, пошевелил пальцами. — Ну, как его?..

— В Риме, — подсказал Заруцкий.

— Во, в Риме! — обрадовано произнес Корела и, пройдя вперед, ткнул пальцем в грудь Заруцкого. — Молодец!.. Жалую!.. Ну? — сам же спросил. — Чем жалую? Что у меня есть?

— Ничего у тебя нет, — нагло заявил Заруцкий, знающий, что с пьяными следует говорить прямо и зря им мысли не путать.

— Вот, — согласился Корела. — Это и бери.

Стоящие навытяжку стрельцы спрятали в бритых по новым порядкам лицах улыбки.

— Благодарю, — сказал Заруцкий.